

Александр Радашкевич

Императорский вальс

Александр Павлович Радашкевич, поэт, эссеист, переводчик. Родился 30 апреля 1950 г. в Оренбурге. Вырос в Уфе. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен). В 1984 г. перебрался в Париж, где работал редактором в еженедельнике «Русская мысль». В 1991-97 гг. был личным секретарём Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Автор двенадцати книг поэзии, прозы и переводов, вышедших в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Белграде. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Участник фестивалей поэзии во многих странах. Стихи переведены на английский, французский, немецкий, сербский, болгарский и арабский языки. Живёт в Париже.

Германский январь

В саксонские туманы, в прозрачные леса, в хвойный дым деревенок ухоженных, в медовый свет оконных сот на пряничных домах, за калитки почивших садов гедзеэрских забытых дач и вокзальчиков потусторонних глухие залы ожидания, не ждущие уже ни с кем и ничего в иероглифах похоти аэрозольной и с зверской точностью нечастых поездов, в жернова судеб гремучие германски слаженных веков, где по утрам, как сны, желанным синицы, сойки, дрозды да лазоревки прилежно роятся у ладных кормушек, прилаженных вдовьей рукой, где в лейпцигской кофейне, поклонившись напольной могиле Баха, дымящий гроссер-кофий и смачный торт «Шварцвальд» вкуснее этой жизни и шоколаднее барочных невычурных страстей.

Александрю Князеву – в путь

Они отходят отрешённо в дворцы непрожитых времён, и на земле давно никто не помнит, какими мы знали их, и нет уж ни брюк бирюзовых, ни долговязого блондина

в них, ни рдеющих гвоздик для Магомаева в ревущем зале Ленсовета («О, море, море, преданным скалам...»), ни мира милого, что мы отчаянно творили, пока он нас развоплощал, и населяли жадным ожиданием и пеленою влюблённостей томных, небом хотений над парусом алым («Море, возьми меня в дальние дали...»), и он показывал нам фиг. Потом стирается полвека, и за повинным поворотом, уже в другом, пустом и чуждом веке встречаешь молодого старика, который и не думал умирать, смакующего поздние настойки с завидным видом знатока и полного пенистых планов аж до скончания времён. И он звонит вам накануне, когда вас нет, не оставляя ни слова, не отвечая больше ни на что, чтоб вам гадать над сизой бездной, цепляясь за тающий воздух: может, снова мечтал он в Париж или больше уже никуда.

Утром

Утром недопроснувшиеся вещи не желают нас узнавать и делают вид, что видят нас впервые, они цепляются за пальцы, липнут, упираются, выскальзывают из рук, а иногда, чаще всего, когда мы опаздываем, падают, а самые упрямые даже разбиваются, разлетаясь на мелкие кусочки, кончая с собой и с этой опостылевшей рутинной возвращением в вещь. И нам их несколько не жалко, наоборот, мы проклинаяем их последними словами, как, впрочем, и самих себя, толком не узнавших их спросонья. Но это случается редко. Обычно мы притираемся друг к другу, понимая, что нам ещё протянуть оный день, припасший для нас бог знает что. За чаем мы слушаем новости, чётко осознавая, что мир окончательно спятил и не желает считаться с нашим вынужденным присутствием, а он отворачивается, пробурчав себе под нос «сам дурак». Но потом и он, нехотя и тайком, приспособливается к нам, понимая, что нам друг от друга никуда не деться при всём желании. Пока. И

в пока открывается утром слепое оконце, из которого мы подглядываем за собой, не веря своим глазам.

В Трианон

От вокзала святого Лазаря, закусив удила золотые, мимо глухо подключённых к переполненным пустотам, ах, сорвёмся в осенний Версаль, потоптать неупавшие листья на лугах опочивших веков, где последняя зелень заводит напрямик в отставной Трианон, к обезглавленной королеве, в её англо-китайский, буколически сомкнутый рай, под драконии ветви плакучей софоры, где, вкусив мускатный виноград голубых королевских кровей, на корнях допотопной секвойи, на глазах у ангорских немигающих кроликов слопаем отнюдь не малодушно этой яви явно несъедобной бутербродик ветчинно-повинный, расхлёбывая ту же кашу, которую никто не заварил, став свирелью непослушной на невнятных устах полупьяного пана. От перрона судьбы опоздавшей, мимо расчеловеченной черни, пока там фартучное братство нам ладит супер-гильотины, в пасторальные кущи, где куртины, боскеты и гроты, в хороводы ряженных пейзажистов с молоком августейшей селянки, к идиллическим вздохам под участливой сенью платанов, по осенней весне разлитой, расправив напрасные крылья, в непреложный, как сны, Трианон, где мы единичны, как боги, с кривым самодельным крестом.

Памяти адвоката (Герману Лукьянову)

И кто-то пишет мне письмо за ночь до торопливой смерти в хорале предрассветных соловьёв, зовёт на дачу с барабаном наполеоновской страды, я отвечаю с припозданием, уже не ведая кому. А на дворе цветастый май с благими видами на море, и всё, чего нам не забыть, и уж вовек чего

не вспомнить. Ваш оглушённый
барабан бьёт исступлённо ретираду,
и ангелы заласканного зла слагают
кожаные крылья на жёрдочках немого
бытия, на срыве расступающейся яви,
где наша беглая юдоль блеснёт, как
ордена на божьей
барахолке.

Греческий диптих

I. В Коринфском заливе

Эллады море сокровенное восплещется в груди.
Ах, льют дожди июньские, эх, солнышко свербит.
Чужая жизнь, дотошная, с обывшими собаками,
котами по углам, где домики из прошлого без
окон и дверей, да на углу от мясной объявленья
в смертельных рамочках на
постантичном языке.

А если так, чего уж там, да и кому оно? Лишь
море разливанное, из коего всё явлено и снидет
в кое то, на ладони ли, в далях ли палевых,
пространно отрешённое, просоленное звёздами,
в себя, как в сон, влюблённое, оно у изголовья
мерно дышит и бьётся о голые горы,
оно, как бредь, желанное, оно
езде моё.

II. Нафпактос

Олеандры на склонах махровых, как
розовая кровь отыгранных баталий, и
руно перелётных туманов, забывшихся
в ложбинах сизых гор. На вершине
твердыни нагорной, слагая были облаков
по сплавленным слоям, прильну на
схлынувшей волне к подошве их сквозной,

в орлином взоре проплыву над градом
горних снов, хранящим растворённый след
сандалий золотых разнеженных богов
с фиалами в перстах. Здесь всё теряет
всякий смысл, которого ни в чём от роду
не бывало, приобретая беглое значение
и яви ложно непреложной веками стёртый
лик. А там, в морской дали, где Сервантес
оставил руку, венецианский порт среди
зубчатых стен и злая тень щетинистых
фелук, отчаливших в нечаемые дали
за розою лазоревой эоловых ветров.

Стенка

Припёрла к стенке неписуха и пялится холодно
в глаза, её черты неразличимы, она всё знает
про меня, а сбоку мир непроходимый, который
шиворот-навыворот и мимо, и наоборот, где всё,
что мнительно любили, за недоштопанную лапу,
как плюш, на свалку снесено, а он с ухмылкой
сатанеет и заводит кропотливо нам обратный
железный отсчёт, чтоб наши завтра с гулом
обернулись прописным и небывшим вчера; нас
без труда пересадили туда, где уж нечем дышать
среди чванной нечисти, что чувствует себя, твердя
брезгливо, что неба нет, чтоб нам под утро больше
не слышать паровозика плачущий свист за тем
холмом, который, как напудренный оперный
занавес, нас от себя волной отгородил; изувеченные
души покидают косяками подключённых к ничему,
и меня в сарацинском Париже, ковыряя в зелёном
носу, размазала по стенке неписуха, не от того, что
так уж плохо, не потому, что больно хорошо, но
много хуже – мне всё в земной чужбине, кроме
тебя да небывшего кроме, уже безбожно всё равно:
сидит старуха на заборе, и вяжет кот седьмой носок,
не растворятся только тени, а остальное ищи-свищи,
как ветра в ковылях, и я из сна Тебя благодарю

за сирой вечности святую мимолётность и всё, что строго между нами, за величие творенья и убожество его, за капельку вселенной на кончике жар-птичьего пера, за сизый вал развоплощений, когда все молнии сливаются в одну, но, что дороже, Боже, ни за что.

Императорский вальс

В синекрылом Кайзер-вальсе, в шабаше жемчужных бликов это были только люди, просто с небом, нежной далью, лесом, птицами и болью, с понедельничным галопом и воскресною тоскою, с повечерними стихами над мерцающей лагуной, с оплывающей свечою недочитанных романов, только с памятью в облатке и с лекалом учтивых писем, лишь с эмалевым портретом недопрожитого лета, только с ликом одиноким непрописанных полотен, с недоверенной любовью на пороге крестных судеб; лишь живым они отжили, населяя его несмыслёной душою, и никто им не застил мельканьем этой призрачно сверенной яви; в лебедином Кайзер-вальсе это плыли люди были на лазоревой планете, что влюблённо кружили забытые боги.

Париж